

«ТИТАНИК» И «ОКЕАН»

О «стихии», о Блоке, о «музыке». 5 апреля 1912 года Блок записывает в дневнике: «Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело». На «Титанике» погибло примерно полторы тысячи человек. Большинство из них, не попавшее в спасательные шлюпки, прыгнуло за борт и замерзло в ледяной воде (температура которой в районе катастрофы была минус два градуса, при температуре воздуха минус три). Между тем, спасательные шлюпки – их было мало, оборудованы они были плохо и управлять ими почти никто не умел – уходили полупустыми, командиры их сначала боялись попасть в образовавшийся водоворот, затем боялись приближаться к месту катастрофы, понимая, что десятки обезумевших рук сразу же ухватятся за борт и что шлюпки почти наверняка перевернутся; командиры эти стояли, следовательно, перед самым страшным выбором в своей жизни: спасти тех, кто уже сидел в шлюпках, или, рискуя их и своей жизнью, попытаться спасти хотя бы еще немногих. Почти все выбрали первое; удаляясь от места катастрофы, многие из спасенных еще долго слышали крики замерзающих, тонущих, обреченных людей. Есть еще океан... «Титаник» погиб в ночь с 14 на 15 апреля по грегорианскому, то есть в ночь с 1 на 2 апреля по юлианскому календарю. Почему Блок узнал о катастрофе (и «несказанно» обрадовался ей) только 4 («вчера»), непонятно, но в конце концов и неважно. Важно, что этот «океан» и есть, конечно, все та же «стихия», та же «музыка», готовая, при случае, превратиться в пресловутую «музыку революции», унесшую в своих «вихрях» поболее полутора тысяч несчастных, ни в чем не повинных, захлебнувшихся «в волнах истории». Несказанно, видите ли – несказанно обрадовала его эта гибель. «Сначала с милой пили чай, потом несказанное». Или наоборот – сначала несказанное, потом чай? Все равно. Поражает вообще вот что. Поражает, что все *предпосылки* были уже в наличии, задолго до того, как кошмар начался, причем предпосылки как идеологические, так и, что, может быть, не менее важно, эмоциональные, душевные. В том прекрасном мире, в Серебряном веке, в Belle Epoque они все уже продумали и прочувствовали. В том мире, о которым мы можем только мечтать, да и мечтать-то не можем, они сидят себе, значат, и думают, как бы его разрушить, сидят и готовят предпосылки его гибели, предпосылки мыслительные и душевные. Грехопаденье происходит, как известно, не после, но еще до изгнания из рая. Грехопаденье происходит в раю. Хьюстон Стюарт Чемберлен, например, уже в 1896 году пишет свои «Основания девятнадцатого века», «классический труд» европейского антисемитизма, где «идейный фундамент» Холокоста уже заложен; автор, между прочим убежденный вагнерианец, муж падчерицы Рихарда Вагнера Евы, в десятки годы фактический глава Байрейтского клана, вел весьма любопытную переписку с германским императором Вильгельмом Вторым, очевидно ему верившим, во всяком случае принимавшим его бредовые идеи об «арийской расе», о евреях, которые ее «разлагают» и т. д., вполне всерьез. (Впоследствии Гитлер, посетивший его в 23 году – Чемберлен умер в 27 – получил от него как бы личное благословение на дальнейшие подвиги в деле спасения германской нации от еврейской заразы). Точно так же верил в юдофобский бред и другой император, дальний родственник и будущий враг этого, Николай, тоже Второй (в письмах они называли друг друга не иначе, как «Вилли» и «Никки»), до самой своей страшной смерти хранивший у себя, среди немногих прочих пожитков, экземпляр «Протоколов сионских мудрецов», покровительствовавший «Союзу русского народа» (который правительство втайне финансировало), во время «дела Бейлиса» при личной аудиенции подаривший судье золотые часы и посуливший ему повышение по службе, если процесс будет «выигран» правительством (беру эти примеры из замечательной книги английского историка Орландо Файджеса, Orlando Figes, о русской революции «Трагедия одного народа»). «В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови» (все тот же Блок, предисловие к «Возмездью»,

все о том же, разумеется, «деле»). Это мог бы написать Геббельс. Да так примерно они и писали. Возник вопрос... Окончательное решение которого будет затем испробовано в Освенциме. Что ж говорить об идеологии «левой», подготавливавшейся в течение всего XIX века? «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Горький, по свидетельству Ходасевича, обожал «маньяков-поджигателей» и был сам «немножечко поджигатель». «Любимой и повседневной его привычкой, пишет Ходасевич, было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение». Любил он также и порассуждать о разложении атома, продолжает Ходасевич, но – «скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце концов прибавить, уже задорно и весело, что “в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!” И он прищелкивал языком»- Пожарчик, что говорить, удался на славу, костерчик получился не символический. Вот эта, гм, да, понимаете, мечта об «уничтожении нашей вселенной», эта «злая и радостная» жажда «пожарчика», эта готовность к гибели, своей и чужой, – без них бы ни гибели, ни уничтожения, ни «пожарчика», разумеется, не было. «Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном», писал Брюсов еще в 1905 году. Думал ли то, что писал? Думал ли вообще что-нибудь, когда писал этот высокопарный вздор? Или просто играл словами – как в жизни играл душами и людьми? Эти игры, ни те, ни другие, ни третьи, даром никогда не проходят. Они и ему самому не прошли, разумеется, даром (в чем можно при желании увидеть и некую справедливость). Замечательны там призывы «грядущим гуннам» «сложить книги кострами» и «творить мерзость во храме»; «гунны» эти, видите ли, какую бы мерзость ни творили, все равно «неповинны, как дети».

Откуда же эта самоубийственная жажда катастрофы, этот «приветственный гимн»? «Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело». Пусто, значит, и тяжело. Не просто пусто, но – бесконечно. Пусто, скучно, «мерзостная, вонючая полоса жизни». Чем заполнить эту бесконечную пустоту? «Пожарчиком», «музыкой революции»? Да чем угодно, лишь бы ее заполнить. То есть что же они, говоря грубо, «со скуки на стенку лезли»? Наверное, было не только это, но и это тоже было. «Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта... как там дальше?... всемирный запой, и мало ему конституций». Ну конечно, всемирный запой, переходящий в мировой пожар, это здорово, это мы понимаем. Конституция же была, действительно, довольно куцей, но была все-таки первой русской конституцией, как-никак дававшей России пусть маленький, но все же хоть какой-то шанс проскочить мимо бездны. Да хоть бы она и не была такой куцей, «поэту» все было бы «мало», ему подавай «всемирное», подавай «океан», а тут – конституция, пункт такой, параграф саякой. Нет, вообще говоря, ничего скучней демократии. Революция – это величественно, это – «музыка». Да даже и в диктатуре есть что-то завораживающее, есть – «большой стиль». Какие флаги и факелы, какие горящие глаза, какая молодежь, как она марширует. И какие все-таки, что ни говорите, свершения, и ДнепрогЭС тебе, и Кузбасс, и автостреды, и стадион в Нюрнберге. А демократия? Боже, какая скука, вечные какие-то поправки к чему-то, вечные эти дебаты о прибавке одной десятой процента к налогу на буженину. Нет уж, давайте лучше устроим «пожарчик». «Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз выпить живой кровью, а там что Бог даст!» Результаты известны, «не приведи Бог» их видеть. Забывают, однако, ответ Гринева его страшному собеседнику. «Затейлива», отвечает он, затейлива калмыцкая сказка. «Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину». «Пугачев не отвечал и с удивлением посмотрел на меня». Как тут не удивиться? От этой простой истины, вложенной Пушкиным в уста своему непритязательному, но все-таки сберегшему «честь» герою, поклонники «метелей» далеки бесконечно, для них она тоже небось звучит как голос из «обывательской лужи». А нужен ведь «океан», куда уж там «луже». Это стремление к «пожарчику» и любовь к «океану» есть, в сущности, очень своеобразный (своеобразный, потому что лишенный, или почти лишенный, *конкретного содержания*) душевный радикализм – прямой наследник русского политического радикализма, того «интеллигентского» радикализма, описанного в «Вехах», который не признавал никаких реформ, никакой «постепенности», но требовал «всего сразу», великой, спасительной, всеразрешающей революции, после коей вообще должны были начаться «новая земля и новое небо», «Царство Божие на земле». А ведь на самом деле было все как раз наоборот. Мандельштам, уже много позже, оглядываясь назад из наставшего – не рая, но ада тридцатых годов, говорил, по свидетель-

ству Надежды Яковлевны, что-то вроде того, что вот был-де у нас рай на земле, был золотой век, да только мы не знали. Это был, конечно, век девятнадцатый. Который, как известно, кончился в четырнадцатом году. В каком году начался, соответственно, «настоящий двадцатый», не календарный. «Проклятье вечное тебе, четырнадцатый год», писал потом Ходасевич. Все катастрофы начались с этой первой, основной катастрофы двадцатого века – что, впрочем, в России ощущалось и как бы до сих пор, сквозь призму последующих, ту первую заслоняющих катастроф, ощущается все же не так остро, как на Западе. Россия и до этого жила на вулкане – Запад в гораздо меньшей степени. В России была малая катастрофа русско-японской войны, была и первая малая революция 1905 года – Запад со времен войны франко-прусской и, соответственно, Парижской коммуны жил, в общем, спокойно. Были, конечно, какие-то колониальные столкновения, какая-нибудь англо-бурская война, был непрерывно нарывающий «балканский вопрос» (в конце концов и прорвавшийся), но все это было где-то там, на краю света, бесконечно далеко от Парижа, от Берлина, от Лондона. Россия, кроме того, почти столетие жила в ожидании революции и как бы готовилась к ней – что, опять-таки, даром не проходит. То есть жила под знаком все того же душевного радикализма, который лишь перед самым концом стал как будто утихать – что и обеспечило России ее Серебряный век. Но, как видим, утихать лишь отчасти – почти лишенная реального *политического* содержания, мечта о «большом ветре из пустыни», о «стихии» и прочем подобном бродила по-прежнему в душах. Так что неправ был Анненский, когда писал в одном письме, что «с эсдеком можно грызться, даже нельзя не грызться, иначе он глотку перервет, – но в Блоке ведь можно только увязнуть». «Блок» и «эсдек» не так уж и далеки друг от друга – что потом и подарило нам «белый венчик из роз» и Петруху с Катькой, затерявшихся среди музыкальных метелей.

И все-таки четырнадцатый год в России тоже был обрывом, срывом времени, концом эпохи, падением в бездну – отчего тринадцатый казался потом «последним». И вот было ведь что-то совершенно загадочное в самом возникновении Первой мировой войны – историки не случайно до сих пор все спорят о ее причинах. Она началась как-то сама собой, как если бы не могла не начаться. Были разные «кризисы», которые всякий раз удавалось разрешить мирным путем, были амбиции, были «блоки» (с маленькой буквы), был вечный «балканский вопрос»... И в общем-то все ждали войны, все как будто знали, что рано или поздно будет – война, но что она действительно – будет, что она действительно, в самом деле, без всяких шуток, в результате таких-то и таких-то действий, австрийского ультиматума, русской мобилизации, может начаться – в это никто в Европе до конца поверить не мог. И вообще было лето, «была жара», как, опять-таки, написал потом Ходасевич, и поверить, что посреди этой летней, ленивой, беззаботно-курортной жизни, вдруг, ни с того, ни с сего... Если есть событие в новейшей истории, показывающее, до какой степени она, история, человеку неподвластна, до какой степени она происходит сама собой, повинуся каким-то, нам неведомым, превосходящим нас силам, то это именно 14 года. Другое такое событие – это, конечно, русская революция (Февральская, разумеется). Помните изумление Розанова («Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три»)? Мгновенно, бесследно. И главное – непонятно почему. Что случилось-то? А непонятно, что случилось, ничего вообще не случилось («Ничего в сущности не произошло. Но все – рассыпалось»). Вот так и в 14 году. Что, еще раз, случилось? А ничего не случилось. Больше всего удивлялись сами политики, доведшие дело до катастрофы. Ну скажите же, наконец, спрашивал германский рейхсканцлер в отставке фон Бюлов у своего преемника Бетмана Хольвега, ну скажите же мне, наконец, как это все так вышло? «Бетман воздел к небу свои длинные руки и ответил глухим голосом: *Кто бы знал?*» Никто не знал, в том-то и дело. Была игра с огнем, это ясно. Все как бы испытывали друг друга, *задирались*, как шпана на базаре. Но что дело вправду дойдет до драки, никто, повторяю, не верил. Были разные *фикции*, вся эта болтовня о «братьях-славянах», которых надо было, разумеется, спасти и защищать. Сербию надо было спасти и защищать, а вот Болгарию почему-то не надо было, Болгария была союзница «держав оси», и Россия видела в ней свою соперницу на Балканах. Но главное, главное, была готовность к жертвам, все та же, вовсе, значит, не ограничивавшаяся Россией, хотя в России, через три года, и проявившаяся наиболее остро, готовность к пролитию своей и чужой крови – ради чего? Ради того, чтобы *что-то совсем другое*, наконец, началось. Не ради конкретных целей, этих целей как будто и не было, или они были фикцией, или их пытались придумать задним числом, но ради того, чтобы начался, наконец, – «океан». Чтобы постылые благополучные будни сменились, наконец, величественным, «общенациональным», с пальбой и флагами, праздником. Чтобы История с большой буквы восторжествовала, наконец, над мелочной мирной политикой. Война, как и революция, ведь это же, прежде

всего, *каникулы*. Это значит – дети не идут в школу, но бегут на площадь, и залезают на фонарные столбы, и маршируют в ногу с солдатами, и пытаются записаться в добровольцы. Это потом их будут травить газами, это потом они будут умирать в лазаретах. А сначала – праздник, счастье, «судьбоносные решения». «Эти часы [после объявления войны] были для меня как избавление от неприятных ощущений юности, пишет в “Моей борьбе” Гитлер [что это значит и каких таких ощущений – неясно, но важно, что – избавление, Erlösung, понятие, вообще говоря, религиозное]. Я и сегодня не стыжусь признаться, что, побежденный бурным вдохновением [одного этого стиля достаточно, чтобы проклясть его навеки], я пал на колени и из глубины моего переполненного сердца возблагодарил небо за то, что оно даровало мне счастье жить в это время». Теперь – все, теперь – прощай девятнадцатый век, золотой век («только мы не знали», что золотой), железный век (как «нам» казалось), ничтожный век, «беззвездный мрак», век «малых дел», и «слабых тел», и «бескровных душ», и «гуманистического тумана» (все цитаты из «Возмездия»). Теперь пойдут кровавые души и стальные тела, и «ангел сам священной брани» от нас уже долго не «отлетит», теперь будут – «подвиги», будет век великих свершений. Теперь будет, пожалуй, «еще страшнее», но той мелкой, постылой скуки, той «обывательской лужи» не будет. (Что одно другого не исключает, что «ужас» и «лужа» прекрасно уживаются друг с другом, это двадцатому веку предстояло еще узнать).

И вот сама эта готовность перейти от скучных будней к кровавому празднику, заполнить пустоту душ верденским газом, сама эта пустота и эта готовность выглядят как орудие неких высших – или низших – сил. «Нечто» должно было (непременно, неотвратимо) случиться; но чтобы оно могло случиться, нужна была соответствующая душевная почва, нужна была эта «бесконечная пустота» в душах, в которую только и могли, заполняя ее, ворваться «стихийные силы» (их же «не превозмочь»). Не было бы «пустоты» – «силы» не ворвались бы. Что прорыв стихии был, в этом сомневаться не приходится. Конечно, он был. «Дионис пронесся над Россией». Вопрос был, как всегда, в отношении к этому «прорыву», в готовности или, наоборот, неготовности в нем *участвовать*. «Бесконечно пусто и тяжело». Тяжело бывает всем. Ощущение пустоты знакомо каждому. Весь вопрос в том, согласны мы или не согласны заполнить пустоту «стихийными силами», снять с души тяжесть, отдавшись «метелям». То есть важна, как всегда, как во всем, *позиция*. Прекрасней, потому что яснее всех, была, в русской литературе, позиция Бунина. «Окаянные дни...» Противоположный полюс всякой «музыке революции» (над которой он владычествовал). Но Бунин, конечно, исключение (Бунин среди русских писателей того времени, наверное, единственный совсем не «интеллигент» – не в «чеховском», а в «веховском», опять-таки, смысле, – эти *смыслы*, впрочем, сходятся – а значит, единственный полностью свободный от интеллигентских *мифов*, от интеллигентского «народолюбия», интеллигентской революционности, которая, при всем «разочаровании» в большевиках, делала психологически очень сложным прямой и последовательный антибольшевизм, чуть-чуть все-таки, особенно сначала, воспринимавшийся как «переход в лагерь контрреволюции»; а как нужен был бы России этот «переход», в это время... Виновата, впрочем, и «контрреволюция», от слишком многих «грехов прошлого» не сумевшая освободиться). Потому-то Бунин, чуть ли, опять-таки, не единственный из всех, никогда, ни при каких обстоятельствах «не бегал к большевикам». «Я его [Волошина] не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: “Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении [речь шла об «украшении Одессы к первому мая] только как поэт и как художник”. – “В украшении чего? Собственной виселицы?” – Все-таки побегал.» Так ли, иначе, но почти все немощно «все-таки бегали», в «украшении собственной виселицы» чуть-чуть, да участвовали. Что говорить, если даже Ходасевич, вообще все понимавший, уже в конце 17 года «вознамерился поступить на советскую службу», приведшую его сначала в какой-то «третейский суд при комиссариате труда московской области», затем в «Пролеткульт», в «Книжную палату», наконец в «Тео», «театральный отдел Наркомпроса», возглавлявшийся О. Д. Каменевой (женой Каменева и сестрой Троцкого). Обо всем этом были им впоследствии написаны воспоминания, которые можно целиком включить в «антологию русской прозы», так они хороши. В этом «Тео» служили многие (и Вячеслав Иванов, и Андрей Белый, и Пастернак). «Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись». А что было делать? Жить-то надо было? Конечно. И не просто

жить – выживать. Надо было как-нибудь ухитриться выжить... Так что я пишу все это никому не в осуждение, избави Боже. А все-таки... все-таки есть что-то подозрительное в той легкости, с какой русские писатели оказались готовы «лгать и притворяться», с какой они «бегали к большевикам». Бежать скорее надо было от большевиков. Что впоследствии многие и сделали, но все-таки как-то уж очень не сразу и очень не все... Но это ладно, это, в конце концов, дела «личные», «биографические». А вот отношение к «вихрям», к «стихиям» и к «океану»... Что говорить, еще раз, если даже Ходасевич, все вообще понимавший, мог написать в августе 21 года (в день, когда получил известие о смерти Блока) такие – все равно замечательные, как и все его зрелые стихи – но все же чудовищные, под стать «Титанику», строки: «Все жду: кого-нибудь задавит / Взбесившийся автомобиль, / Зевака бледный окровавит / Торцовую сухую пыль. // И с этого пойдет, начнется: / Раскачка, выворот, беда, / Звезда на землю оборвется, / И станет горькою вода. // Прервутся сны, что душу душат, / Начнется все, чего хочу, / И солнце ангелы потушат, / Как утром – лишнюю свечу». И ведь вот что удивительно – к 21 году «раскачка» и «выворот» давно уже начались, что начались! – шли вовсю, «полным ходом», «беда» смотрела изо всех щелей и трещин, вода давно стала горькой. «Апокалипсис нашего времени...». Но этот «апокалипсис» сам выглядит как «тихий ад» (из соседнего стихотворения), жизнь вроде как успокаивается, уже, вот, и НЭП на подходе, то есть «ужас» оборачивается все той же, вечной «обывательской лужей». И *ответ* на нее, Блоком же явно и вдохновленный, все тот же – все те же, снова, апокалипсические видения, тот же «океан», сметающий, разумеется, «зеваку бледного» без зазрения совести, походя, между делом. Пишу об этом с грустью – Ходасевич в моей личной иерархии ценностей стоит неизмеримо выше певца «метелей» с его разболтанной музыкой. Полтора годами ранее, в декабре 19 года, он был умнее и тоньше – там речь шла, в не включенном ни в один сборник и совершенно восхитительном стихотворении, о том, что – «Душа поет, поет, поет, / В душе такой рассвет, / Какому, верно, в этот год / И оправданья нет». «В церквах – гроба, по всей стране / И мор, и меч, и глад, – / Но словно солнце есть во мне: / Так я чему-то рад. // Должно быть, это мой позор, / Но что же, если вот – / Душа, всему наперекор, / Поет, поет, поет?» То есть душа поет именно *наперекор* «мору и гладу», *наперекор* «океану». Она «запела», может быть, от соприкосновения с ним, от соприкосновения со «стихией» – «рассвет» Ходасевича начинается ведь и в самом деле где-то с 17 года, – но этот рассвет «гробов» не отменяет, и забыть о них отнюдь не велит, это «солнце» «стихию» не оправдывает и «стихией» не оправдывается, эта, в душе зазвучавшая, «музыка» с «музыкой революции» не сливается. Поэтому возможна и такая, в поэзии, в отличие от прозы, вообще нечаятая, острота этического сознания; именно она-то, может быть, и оправдывает, если он нуждается в оправдании, «рассвет».

«Обезьяна» или отчасти о том же

Одно из самых поразительных стихотворений, написанных по-русски в двадцатом веке – а поразительных, великодушных и т. д. стихов на этом языке, в этом веке написано было немало, – но все же одно из самых своеобразно поразительных, скажем так, русских стихотворений двадцатого века – «Обезьяна» Ходасевича. Это стихи, по крайней мере – на первый взгляд, очень простые, комментарии не требующие; все-таки скажем о них несколько слов. Для начала – вот они целиком:

Обезьяна

Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листья сирени

Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но, чуть ее пригубив, –
Не холодна ли, – блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И – этот миг забуду ли когда? –
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула...
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождам народа – ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину – до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось – хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.

И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишенное лучей,
В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.

В тот день была объявлена война.

7 июня 1918, 20 февраля 1919

В примечаниях, которые Ходасевич внес в принадлежавший Берберовой экземпляр его (увы, последнего прижизненного) «Собрания стихов» (1927 года), об «Обезьяне» сказано: «20 февр. [1919 года]. Нач. 7 июня 1918. Все так и было, в 1914, в Томилине. Гершензон очень бранил эти стихи, особенно Дария». Гершензон был неправ, вообще и в отношении «Дария» в частности. Но замечательно, что «все так и было», что речь идет, следовательно, о воспроизведении реального эпизода – который, конечно, надо было еще, в его плодотворности для стихов, *увидеть*,

из того потока эпизодов, из которого жизнь, вообще говоря, и состоит, выделить, вычлени́ть – чтобы затем превратить его в *нечто совсем иное*, в конечном счете отменяющее вопрос о реальности или нереальности самого эпизода, в то стихотворное *инобытие*, которое создает реальность более плотную, более сжатую, более *сильную*, чем реальность, присущая бытию просто. Есть, впрочем, у этих стихов и литературный – если не прообраз, то, по крайней мере, литературная параллель – стихотворение Бунина «С обезьяной» (1907 года), которого, по свидетельству все той же Берберовой, Ходасевич, когда писал свою «Обезьяну», не знал. Берберова могла и ошибаться, но не верить самому Ходасевичу никаких оснований нет; даже если, следовательно, где-то в памяти, или полужабвении, это (очень, к сожалению, слабое – одна рифма «хлеб – Загреб» чего стоит) стихотворение Бунина у него, когда он писал свои стихи, и присутствовало, можно, тем не менее, считать, что «все так и было». А было – как? «Была жара. Леса горели. Нудно / Тянулось время». Эту жару и горящие леса 1914 года отмечали многие – например, Ахматова: «Пахнет гарью. Четыре недели / Торф сухой по болотам горит». Но Ахматова пишет это сразу, тем же летом 14 года, Ходасевич – оглядываясь назад из 18-19, поверх за эти годы случившихся катастроф, пожаров, за эти годы сделавшихся «мировыми». Время еще «тянулось нудно», видно, оно и вправду очень «нудно тянулось» перед самой войной, в Серебряном веке, в потерянном нами (как кажется нам) раю (в котором леса уже, впрочем, горели...); еще была, на месте этого нам кажущегося, воображаемого нами рая, убогая, дачная идилия: «На соседней даче / Кричал петух. Я вышел за калитку». Это такое простое, дачно-обыденное действие – выйти за калитку – но что-то уже намечается в нем, «закулисный гром», как писал впоследствии Набоков, подспудно уже погромыхивает. «Я вышел за калитку» – это значит пересек границу, отделяющую внутреннее от внешнего, «пространство дома» от «пространства улицы», свое от чужого. И там, за калиткой, действительно, что-то весьма экзотическое предстает перед этим «я», от лица которого стихотворение и написано, этим «я», которое (или которого) просто отждествлять с самим Ходасевичем (даже при том, что «все так и было»), конечно, нельзя (в англоязычной традиции существует для этого субъекта стихотворения удачный термин *the speaker*, «тот, кто говорит» – впрочем, «субъект стихотворения», подвернувшийся мне под перо, тоже, кажется, термин неплохой, предлагаю им и пользоваться) – что-то, еще раз, весьма экзотическое предстает перед этим субъектом, менее экзотическое, чем кажется нам, не привыкшим к подобному рода зрелищам, более обыденное для того времени, но все же что-то, уводящее достаточно далеко от этой банальной дачи с ее петухами. «Там, прислонясь к забору, на скамейке...» «Там» – значит там, за калиткой, там, на дачной улице, с ее заборами, скамейками, пылью, сиренью. Но это «там», лишенное определений, слово *тяжелое*, это «там» само по себе уводит куда-то в сторону от «дома», да и от «улицы», куда-то вдаль или вглубь. «Я вышел за калитку. Там ... сидел». Где он сидел? Там. Он там, где-то – там, хотя и на скамейке, сидел. Кто сидел? Бродячий серб с обезьяной. У Бунина был хорват с обезьяной. Но у Бунина в 1907 году хорват был просто хорват, у Ходасевича серб, конечно, не просто серб, но серб, увиденный в день объявления Первой мировой войны и сквозь призму ее, этой войны, к 18, 19 году уже определившихся результатов, – серб этот отсылает, разумеется, к ее непосредственному поводу; Сараево, соответственно, начинает просвечивать сквозь дачную идиллическую кулису, Гаврила Принцип снова стреляет в несчастного эрцгерцога, несчастную эрцгерцогиню. Он, конечно, бродяга, этот серб, где-то, на каких-то ярмарках, показывающий за деньги свою обезьяну; она же, хоть и сидит «выше», чем он – «выше, на заборе» – она все-таки унижена, все-таки – «нищий зверь», унижена даже не столько им, о ней, довольно трогательно, заботящимся, но унижена вместе с ним, их общей долей и бедностью, унижена этим ошейником, этой цепью, жарой, даже этой дурацкой красной юбкой, гоготом нам незримой ярмарочной толпы. «Вся тварь совокупно стенает и мучится доньше», по слову апостола, которое Ходасевич помнил, наверное, так, как помнят только выученное в детстве... Затем начинается собственно «действие», просьба о воде, пьющая обезьяна, сравнение с Дарием. Вот за этого-то «Дария» Гершензон и бранил Ходасевича – а между тем, этот Дарий попал сюда не просто из гимназических воспоминаний автора (Дарий, пьющий воду из лужи, упоминают у Цицерона), но он создает ту *перспективу*, без которой стихотворение не было бы тем, чем стало, тот выход в глубину времен, который в следующих строках как бы расширяется, от древности только человеческой переходит к древности уже незапамятной.

«Всю воду выпив, обезьяна блюдец / Долой смахнула со скамьи, привстала / И – этот миг забуду ли когда? – / Мне черную, мозолистую руку, / Еще прохладную от влаги, протянула...».

Она сама протягивает ему руку, вот в чем все дело. Есть совершенная неожиданность, спонтанность, внезапность, и потому – красота в этом жесте. Кто наблюдал обезьян, видел, может

быть, это внезапное совершенство их движений; не могу не вспомнить, как сам стоял однажды в зоологическом саду в Нанси перед клеткой с явно скучавшей, скучно ходившей вдоль решетки, задевая ее когтями, мохнатой, не очень маленькой, но и не особенно большой, какой-то вообще никакой, обезьяной, не очень даже вонючей, наконец, усевшейся посреди клетки на корточках. Среди зрителей был старик, строивший ей гримасы, явно пьяный, с даже не красным, но каким-то фиолетовым, в синих прожилках, носом. Была опять-таки – жара-не жара, но был, в конце лета, душный, тяжелый день, такой же скучный, как эта обезьяна, как этот полузаброшенный зоологический сад, как сам этот город, откуда, казалось, все однажды уехали и забыли вернуться, где все застыло в провинциальном оцепенении. Нудно, короче, тянулось время; только старик с фиолетовым носом продолжал строить свои гримасы и почему-то браниться, как если бы ему не на ком было больше выместить накопившееся в нем раздражение. Так продолжалось довольно долго, обезьяна неподвижно сидела на корточках, в том же, казалось, оцепении, в котором застыл весь город, смотрела на старика не отрываясь, но по видимости безучастно, старик дразнил ее и бранился, все прочие наблюдали за сценой. Вдруг легким, плавным, округлым и мгновенным движением, не вставая с корточек, обезьяна, своей мохнатой, длинной, в этом движении как будто еще больше вытянувшейся рукой, зачерпнув пригоршню смешанного с дерьмом песка, на котором она и сидела, запустила ее старику в лицо и, как будто ничего и не было, убрал руку, приняла прежнюю позу. Старик отошел, утираясь и матерясь, зрители загоготали. Но главное было – само движение, которым песок был пущен. Это движение было быстрым и медленным одновременно; совершенно естественным, совершенно простым, совершенно свободным. Оно как будто исходило из какой-то, нам невидимой, точки, из какого-то, невидимого нам, центра. Я подумал о том медведе, которого Клейст описывает в своей статье о театре марионеток, вообще об этом удивительном сочинении. Медведь, как мы помним, отражал любые удары самого лучшего фехтовальщика «коротким движением лапы», не обращая при этом никакого внимания на ложные выпады своего противника; «глядя мне прямо в глаза, как если бы он читал у меня в душе», рассказывает (очевидно, воображаемый) собеседник автора, «стоял он с занесенной для удара лапой, и если мои выпады делались не всерьез, не шевелился». Вот так и обезьяна у Ходасевича смотрит в самую глубь души, «до dna души моей». Прежде чем вернуться к ней (душе, обезьяне), помедлим еще немного среди марионеток. Каковые, по Клейсту, обладают грацией, человеку недоступной, и недоступной, конечно же, потому, что человек наделен сознанием, – сознанием, однако, не бесконечным; «только Бог мог бы в этом отношении соперничать с материей». Отсутствие сознания и сознание бесконечное предстают как два (в последнем итоге сходящихся) полюса, между которыми и блуждает изгнанный из рая, а потому и лишившийся естественной грации человек. Чем меньше сознания, чем меньше рефлексии, тем грации больше; у человека она исчезает вместе с молодостью; еще чувствуется у животных; достигает совершенства в механической марионетке. Вернуться к ней можно лишь «с другой стороны», пройдя весь путь до конца, вновь вкусив плодов с древа познания, чтобы вновь обрести «состояние невинности». «И это – последняя глава мировой истории». Так выходит у Клейста в этом его, повторяю, совершенно удивительном сочинении – таком, кстати, крошечном, ведь там всего страниц семь-восемь! – пересказывать которое «своими словами» есть, конечно, труд неблагодарнейший.

Вот эта-то «райская», изначальная, «до грехопадения» лежащая естественность, грация и простота – хотя и по совсем не райскому поводу – была в движении моей нансийской обезьяны. И, конечно же, именно о таком движении, таком жесте идет речь в наших стихах – отсюда «благородство очертаний», недоступное человеку, ни «красавице», ни «вождю народа». Только на сей раз это жест дружественный, жест благодарности – благодарности тоже какой-то «райской», человеку тоже, может быть, недоступной («ни одна рука моей руки так братски не коснулась»). Эта протянутая обезьяной рука – как мост, перекинутый через бездну, отделяющую человека от им утраченной полноты («и в этот миг мне жизнь явилась полной...»), от «незапамятных дней». Здесь есть *разрыв времени*, этот обезьяний жест разрывает (нудное, скучное, обыденное, никакое...) время – почему и повторяется два раза слово «миг» («этот миг забуду ли когда?»; «и в этот миг мне жизнь...»); этот «миг», иными словами, выпадает из привычной «связи времен», переносит в иное, «незапамятное» время, в то, что было «прежде», за пределами всего *этого, здешнего*, в абсолютное (в первых строках стихотворения уже втайне возвещенное) *там*. И это упорядоченное, гармоническое *там*, это *хор* светил и т. д., в нем есть строй и гармония. То есть это никакая не «стихия», не «океан». Это Эдемский сад, а не джунгли. Обезьяна, конечно, «нищий зверь», и в ней есть «звериное», до-человеческое, первобытное (она жадно жует эти свои жалкие, пыльные листья сирени, она смахивает блюдо со скамьи долой – интересно все же, разбилась

оно или нет...). Но нет, кажется, ничего «зверского», «бестиального» – и уж точно нет ничего, соблазняющего восхититься бестиальностью, прельститься «стихийей». Есть райский *ответ*, лежащий на «нищем звере», – ответ того рая, о котором Ходасевич писал много позже в посвященном «Памяти кота Мурра» стихотворении: «Теперь он в тех садах, за огненной рекой, / Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин. // О хороши сады за огненной рекой, / Где черни подлой нет, где в благодатной лени / Вкушают вечности заслуженный покой / Поэтов и зверей возлюбленные тени!» *Поэтов и зверей* – то есть, если угодно (если не бояться тех романтических представлений о «поэте», которым Ходасевич, как и большинство его современников, был не чужд, к которым я вполне всерьез отношусь все-таки не способен) существ, что-то иное знающих, что-то *видящих*. «Кошки не любят снисходить до проявления мелкой сообразительности. Они не тем заняты. Они не умны, они мудры, что совсем не одно и то же. Сощуриив глаза, мой Наль [следующий, кажется, кот после Мурра] погружается в таинственную дрему, а когда из нее возвращается – в его зрачках виден ответ какого-то иного бытия, в котором он только что пребывал». Так писал Ходасевич в «Младенчестве»; и разве «ответ какого-то иного бытия» не есть то именно, что проходит, как ее, может быть, основная тема, через всю его зрелую поэзию? «Нищий зверь» ближе, конечно, к началу, к *до-началу* истории, к ее «первой главе». Но, как мы только что слышали от Клейста, крайности сходятся; потому ответ до-исторического, изначальноного отсылает одновременно и к после-историческому, *после-конечному*, эсхатологическому; от того, что было «прежде», к тому, что будет «потом», «когда-нибудь», после всего, после времени.

Миг заканчивается (возвратимся к нашему тексту); все *миги* вообще имеют обыкновение заканчиваться; серб, «постукивая в бубен», уходит; еще, в последний раз, возникает образ экзотической древности («как на слоне индийский магараджа...»), но возникает уже и какая-то апокалипсическая образность, солнце Апокалипсиса уже висит над миром («огромное малиновое солнце, / лишненное лучей, / в опаловом дыму висело»; как далеко ушли мы от начала нашего текста, от «просто» жары, от петуха на соседней даче...); образность, *разрешающаяся* последней, отделенной пробелом строкой. И вот – какая же связь? Какая связь между Апокалипсисом в конце и райскими видениями в середине, между войной и – «сладчайшими преданиями древности»? «Все так и было». То есть был бродячий серб и его обезьянка, которой автор дал напиться – в день объявления войны, 1 августа по новому, 17 июля по старому стилю. То есть связь чисто хронологическая, следовательно – случайная. Мы этим, конечно, не удовлетворены, мы чувствуем, помимо этой случайной связи, еще какую-то, совсем другую, какую-то более глубокую связь, но какую же? Связь, может быть, по принципу противоположности? Может быть. То, что открылось нашему «субъекту стихотворения» (и нам вместе с ним) в этот незабвенный миг, в этом братском рукопожатии, и то, что несет с собой начинающаяся война, это противоположности, одно отрицает другое. Гром орудий заглушит органную музыку, хор «берт» перекроет хор сфер, полнота жизни погибнет в окопах, райские виденья погаснут в пороховом аду. Потому последняя строчка и воспринимается как обрыв, как – срыв времени, падение с какой-то сверхающей высоты. И как падение в реальность, уже не ту обыденную, над которой мы только что, бесконечно высоко, к сферам и сферам, взлетели, но в историческую реальность, в трагическую реальность истории. (Поражает, вообще и среди прочего, *амплитуда* этого сравнительно все-таки небольшого стихотворения: от бытовой, обыденной реальности к экзотике, к балаганной беде и бедности, к древности, к незапамятной древности, к запредельному, райскому, к небесным сферам, к апокалипсическим видениям, к реальности исторической и ужасной – на сравнительно небольшом пространстве оно прodelывает *луть*, равный которому в мировой поэзии найти нелегко). Как бы то ни было, и то, и другое, и гром орудий, и музыка сфер, уводит – пусть, может быть, в разные, даже противоположные стороны, но во всяком случае – за обыденные земные пределы, прочь от дачной идилии, от нудного времени. Нудное время кончилось – наступает время апокалипсическое. А раз так, то открываются возможности и горизонты, до сих пор, в земных пределах, закрытые. Потому связь между тем и другим противоположностью все-таки не исчерпывается – или, иначе, связь по принципу противоположности тоже есть, прежде всего, *связь*. Каким-то таинственным образом взлет предсказывает падение, душа взмывает над бездной, грозящая гибелью сообщает жизни то напряжение, остроту, «полноту», каких она в мирные, благополучные эпохи, может быть, и не достигает. (Ходасевич не случайно так любил пушкинские строки про «упоение в бою», про «залог бессмертья» и «неизъяснимы наслажденья», которые, как мы помним, таит «для сердца смертного» «все, все, что гибелью грозит».) В конце концов, и эсхатология ведь не обходится без Апокалипсиса, Царство Божие приходит после мировой катастрофы. Из чего во все не следует, что катастрофы оправданы – наоборот, как мы видели, «оправдания нет», может

быть, даже для взлета и рассвета души «бездны мрачной на краю»; слишком ужасна «бездна», слишком много «гробов», мора, меча и глада, чтобы можно было «заглядывать в запредельное», ни разу не усомнившись в своем моральном праве на такие заглядывания. Ни о каком заигрывании со стихией, с «океаном» здесь речь не идет, никакого «дионисийского прельщения» здесь нет, в «мировых вихрях» автор не растворяется и читателя раствориться не призывает (слушайте, мол, «музыку революции»...). Но есть, повторяю, связь одного с другим, таинственное взаимодействие между взмывающей душой и открывающейся бездной, грозящей гибелью и органичной музыкой незапамятных дней.

Всем этим своеобразие нашего текста еще не исчерпывается. В корпусе зрелых стихов Ходасевича стоит оно как будто особняком; но в чем именно заключается эта его особенность, определить нелегко. А между тем, оно представляет собой (не сразу узнаваемую – и вот в том-то и дело, что узнаваемую не сразу) вариацию на его, возможно, – основную тему, выше уже вскользь упомянутую, тему выхода – или вырыванья («но вырвись – камнем из пращи...»), или хоть заглядывания за земные пределы, мгновенного взлета над миром и над собою, нередко (хотя и не всегда) сочетающегося с как бы обратным взглядом на мир и на себя «уже оттуда», на мир, уже покинутый, на себя, уже как на пустую, брошенную, «изношенную оболочку». Проследить эту тему в ее различных преломлениях было бы задачей другой, гораздо большей по объему и охвату материала работы; ограничусь поэтому простым перечислением тех стихов, где эта тема проступает наиболее отчетливо – «Эпизод» (1918), «Полдень» (1918), «Вариация» (1919), «Из дневника» (1921), «Элегия» (1921), «Баллада» (1921), «Большие флаги над эстрадой...» (1922). Перечитывая эти и другие, этим родственные, стихи, замечаем в них две особенности. Во-первых, «прорыв в иные сферы», «взлет вверх» (и следующий за ним – «взгляд вниз») происходит без всякого внешнего повода, сам собой, «вдруг», непонятно почему. «И вдруг – как бы толчок, – но мягкий, осторожный...» («Эпизод»); «И вдруг, изнеможенья полный, / Плыву...» («Вариация»). Или – в потрясающей «Элегии» – «душа выиграла». Она сама, вдруг, ни с того ни с сего, «выиграла» – и вот летит «в огнекрылатые рои», и вступает «в родное древнее жилье», и – откуда? с какой высоты? кем измеренной? – смотрит вниз, на того, кого ей уже «навсегда не надо» и кто продолжает брести «в ничтожестве своем» по аллеям «Кронверкского сада» (в наши дни испоганенного аттракционами для восставших масс). Такова первая особенность, вторая заключается в том, что эти выходы и прорывы не имеют (по видимости) ничего общего с историей – кроме все той же одновременности. «Рассвет в душе», как мы уже видели, происходит на самые страшные, самые «океанские» годы русской, да и вообще европейской истории; но никакой связи между занимающими нас, «рассвет в душе» очевидно и создающими, выходами в иное бытие – и войной, революцией, военным коммунизмом, гражданской войной, *в самих стихах* нет. Поэт (или, опять-таки, – субъект стихотворения) идет в 21 году по Кронверкскому саду совершенно так же, как шел бы в 13, сидит в 18 году (в котором Ходасевич на самом деле голодал, болел, жил в подвале и мечтал о получении «ордера» на покупку ботинок) на московском бульваре в совершенно мирной, почти идиллической обстановке, рядом с барышней, читающей книгу, мальчиком, возящимся в песке. Как видим, это два «не», то есть два негативных свойства, которые, как и все негативные свойства, становятся особенно отчетливы при сличении с чем-то, в чем их нет, то есть с чем-то, где они заменены свойствами позитивными. Именно такова наша «Обезьяна». В ней *есть* внешний повод для выхода в иные сферы, в «незапамятные дни» и *есть* очевидная связь с историей, с начинающимися «в тот день» мировыми катастрофами.

Этот повод и эта связь, при всей их внутренней неслучайности, все-таки остаются, конечно, по внешней видимости, случайными. «Все так и было». Была, еще раз, в день объявления войны, обезьянка, которой поэт дал напиток, которая протянула ему «черную, мозолистую» руку. Так случилось, сошлось и совпало. Превращение случайного в неизбежное и есть, в известном смысле, основная задача, решаемая поэзией. «Жизнь» или кто угодно кидает поэту мяч случая, скажем так, поэт же ловит его и прячет, чтобы со временем превратить его в стеклянную сферу стихотворения, отражающую реальность земную и не совсем, дачные заборы, далекое небо.